



# Виктор Пелевин

## Водонапорная башня

ФТМ



**Виктор Олегович Пелевин**  
**Водонапорная башня**  
Серия «Рассказы Виктора Пелевина»  
Серия «Миттельшпиль», книга 3

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=138119](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=138119)  
Relics. Раннее и неизданное: Эксмо; Москва; 2007  
ISBN 978-5-4467-0280-0*

### **Аннотация**

По содержанию это последовательность ярких жизненных впечатлений мужчины, жившего в 1920-1970 годах в СССР. Это первые впечатления детства, воспоминания взрослых о Гражданской войне, школа, учительница географии, пионерлагерь, мода на авиацию и летчиков, репрессии 30-х годов, песни Утёсова, Великая Отечественная война, дети, смерть Сталина, работа, космонавты, советские автомобили «Победа», смерть жены, пробежки трусцой в парке, впечатления старости и предсмертная боль в сердце. Первое и последнее впечатление героя – это водонапорная башня, символ человеческой жизни, которая, кажется, будет строиться бесконечно высоко, до самого неба, но настанет срок – кладут последний кирпич, и строители уходят.

Рассказ написан в форме одного сложного предложения, растянувшегося на несколько страниц.

# Виктор Пелевин

## Водонапорная башня

Водонапорная башня вполне может оказаться тем первым, с чего начнется все остальное, потому что предметы появляются тогда, когда становятся известны их названия, и происходящее за окном сразу приобретает смысл – солдаты заканчивают работу, выкладывая белым кирпичом цифру «1928» на толстой верхней части каменного цилиндра, и даже не догадываются, что кто-то следит за тем, что они делают, думая об этом почти без помощи слов, но очень серьезно: любая башня или даже труба сначала строится таким образом, будто должна подняться до самого неба, чем обязательно завершилось бы простое добавление новых кирпичных колец изо дня в день, если бы не решение строителей уйти, приводящее к тому, что какой-то кирпич обязательно становится последним, а я – единственным свидетелем остановки работ, потому что во всем доме напротив только я понимаю, что означают пустые леса, от вида которых возникает такое странное чувство, что взгляд сам собой переходит вправо, туда, где кончается деревянная коробка с землей, утыканной яблочными семечками, и обои чуть отстают от стены, приоткрывая другой слой обоев и желтый край газеты, еще до-революционной, оставшейся с тех времен, когда бородатые господа в шляпах удивительной формы и с цепочками на

жилетах, предчувствуя свой конец, пили шампанское среди раздетых женщин и измученных рабочих, а Ленин со Сталиным стояли у окна и читали первый номер «Правды», предвидя все на свете и, может быть, даже то, как когда-нибудь на свет появлюсь я и бесконечно длинным летним днем буду наклеивать полоски сиреневой папиросной бумаги на узкие фанерные крылья, сидя на теткиной кровати, глядя за окно и почти не обращая внимания на ее путанные рассказы о том, как в село вошли белые, потом красные, потом опять белые, а потом какие-то непонятные «наши», которых почему-то представляешь себе мужиками в малиновых рубашках каждый раз, когда видишь справа от пыльного крыла ее фотографию и пытаешься сообразить, что это на самом деле значит – взять и умереть, как она, и как можем умереть мы все, если не останемся вечно жить в своих делах по способу Антонины Порфирьевны, даже протирающей после этих слов свои очки, отчего возникает короткая пауза в ее многолетнем рассказе о так называемых материках, возвышающихся над серыми пространствами океанов, где даже самый большой в мире линкор покажется крохотным, как спичка, если вдруг поглядеть на него из неба, заполненного летящими в Канаду журавлями, боевой авиацией и черными пятнами, возникающими от долгого наблюдения за солнцем, медленно меняющим свой цвет при приближении к воображаемой точке, где оно, уже красное и огромное, оказывается только в июне, чтобы на несколько минут коснуться шкафа,

осветить его верхнюю половину и превратить его во что тебе хочется, начиная от бастиона Великой Стены и кончая скалою где-то в Америке – смотря куда ты переносишь свою жизнь из этих мест, хрюкающих на тебя всеми своими свиньями, когда ты идешь по грязной улице со своей коллекцией спичечных коробков и размазываешь по лицу сопли пополам с кровью, а тебе вслед орут все те, кто уверенно чувствует себя среди этих косых заборов, обещая вломить тебе завтра еще разок так же безнаказанно, как сегодня, потому что жаловаться все равно некому, и для любого взрослого нет разницы между избивающими и избиваемыми детьми, раз те и другие в галстуках, с барабанами и горнами, оставив отцов допивать вонючее пиво, уходят в будущее даже тогда, когда просто стоят шеренгой перед пионерлагерными бараками и щурятся от бьющего в глаза света, глядя кто на ползущий вверх по шесту флаг, кто на кота, крадущегося по уже горячим жестяным листам на крыше столовой, чтобы спрыгнуть в кусты, где вечером делят собранные за день окурки, курят, спорят о конструкции женских внутренностей и заедают синий дым зубным порошком, вкус которого остается во рту еще долго после отбоя, запоминаясь как приложение к истории о синем ногте в котлете и чекистах, которые приехали слишком поздно только потому, что спустила шина, и пока в темном дворе меняют колесо, они сильно стучат в дверь, а потом уходят в такой спешке, что соседу приходится одеваться в коридоре, как раз напротив твоей замочной

скважины, в которую он вполне мог бы напоследок ткнуть карандашом, раз до этого подсыпал битое стекло в сливочное масло и отравлял колодцы, чтобы ты пил из них тифозную воду и полгода лежал в кровати, глядя в окно и угадывая за пушистой завесой падающего снега очертания водонапорной башни, похожей на приставленного к городу часового, стерегущего твой покой и заодно тебя самого, чтобы ты случайно не скрылся в собственном будущем, воспользовавшись теплой весенней ночью, в которую появляется возможность, почти не касаясь земли, углубляться в черные заросли неизвестно откуда взявшегося леса и уже почти узнать то, к чему бежишь со всех ног перед тем, как проснуться и, поглядев на приоткрытую дверь, за которой слышны бодрые утренние голоса и свист примуса, подумать, что каждое утро к ней, как трап, придвигают забитый сундуками и комодами коридор, выход из которого ведет в тот единственный дневной мир, который тебе известен, и чем лучше ты с ним знаком, тем реже дверь твоей комнаты будет раскрываться куда-то еще, в места, названия которых ты не знаешь и не узнаешь никогда, потому что уже давно похож на человека, стоящего на подножке разгоняющегося трамвая и думающего, что чем быстрее тот едет, тем труднее будет спрыгнуть и пойти своей дорогой, пока слова «своя дорога» еще сохраняют некоторый смысл, а точнее – отблеск понятного когда-то смысла, иногда мелькающий в глазах стоящих рядом, но раз они все-таки едут дальше, то, наверно, на что-то надеются, а

они думают то же самое, глядя на тебя, пока один разливает по чашкам водку, а другой пытается играть на гитаре, под которую так надежно затвердевает вокруг тот мир, который ты выбрал, не успев ни с чем его сравнить и поняв только, что все в нем случается крайне быстро, а время суровое и величественное, и хоть Утесов поет, что тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет, люди пропадают целыми оркестрами, так и не дошагав туда, куда они шли, и все-таки попав именно туда, в чем нет ничего удивительного, раз страна движется от одного крутого перелома к другому, еще более крутому, и все по линии партии, отточенной и прямой, как угол твоей комнаты, где стоит патефон с десятком пластинок, позволяющих тебе время от времени нелегально обнять утомленное солнце, вырезанное кем-то из последней на всю страну оранжевой картонки, и догадаться, что если уж ты простился с чем-то навсегда, то оно тоже простилось с тобой, и, обернувшись, ты увидишь на столе воблу на мятой «Правде», бутылочку пивка и больше ничего, потому что другого не положено на стол, и именно это, по всей видимости, и придется защищать, если завтра война, потому что никакая твоя защита не нужна ни качающейся за окном сирени, ни узкому лучу света, падающему на расщепляющее его стекло, за которым застыло красно-сине-желтое лицо Горького, большого приятеля нашей державы, так и не успевшего описать в своих книгах, как ты и такие как ты, в спортивных рубашках и белых кепках, с миллионов порогов

улыбнутся ей и таким как она, в простых платьях из ситца в цветочках, и все сразу прояснится, потому что все печальное и непонятное имеет свойство проходить, а жизнь содержит именно тот смысл, который ты придаешь ей сам, с ясной целью впереди сидя за всенародными брошюрами, недосыпая и рискуя навсегда опоздать на работу и сесть в тюрьму, к глупым блатным, еще не понявшим, что в стране, где на деньгах нарисован вглядывающийся в тревожное небо летчик, быть богатым просто невозможно, потому что даже целая армия этих летчиков в кармане не заставят замолчать раскрытый клюв репродуктора, который так страшно слышать даже не из-за смысла долетающих слов, а из-за неожиданной догадки, что с тобой сейчас говорит диктор, фокусник, зарабатывающий себе на жизнь умением заставить тебя на несколько секунд поверить, будто к тебе обращается что-то огромное и могущественное, готовое позаботиться о тебе, когда на самом деле ты и такие как ты нужны этому огромному, чтобы заботиться о нем и защищать, закрывая это неживое и непонятное, даже не догадывающееся о собственном существовании, той единственной попыткой, которой на самом деле является и твоя жизнь, и жизнь за стриженным затылком, в который ты глядишь, стоя в длинной толпе перед призывным пунктом и теряя мелькнувшую на секунду мысль, узнав в человеке впереди бывшего одноклассника, опять оказавшегося твоим товарищем, которого надо хотя бы оттащить в сторону, чтобы он не лежал у перевернутого грузовика, но-

гами на дороге, а головой в еще довоенном подорожнике, и муравьи не ползли по его лицу, которое вспоминается тебе, когда над головами гудят невидимые самолеты или когда мимо по платформе ведут очень похожего на него окруженца в мирных калошах, полезшего сдуру искать начальство, а потом сдуру побежавшего от конвоя и свалившегося в трех метрах от последнего вагона, уносящего тебя навстречу зиме, лыжам ленинградской фабрики и карнавальному маскхалату, в котором ты встречаешь Новый год, глядя из сугробов на две красные ракеты, блестящие в прозрачном ночном небе, как елочные шары, пока ты думаешь о том, что оставленный на минуту в покое человек может вдруг оказаться так далеко от оставивших его в покое, что те найдут на его месте кого-то другого, уже совершенно не желающего углублять окоп, а пытающегося вместо этого повернуться к стене и заснуть, позабыв, что никакой стены возле его койки нет, а есть два узких прохода, как раз подходящих для того, чтобы заново учиться сгибать и разгибать ноги, а потом стоять, ходить и бегать за притормаживающими грузовиками, катящими навстречу летнему солнцу, погоням на плечах и походящему на веник с врезанной консервной банкой автомату, из которого ты ни разу не выстрелил за два года, потому что видел перед собой большей частью заваленную списками живых и мертвых поверхность то школьной парты, за которой когда-то сидел писавший фиолетовыми чернилами Чугунков Коля: «седьмой класс – дурак», то переделанного бильярда,

сукно которого с такой скоростью впитывает вылившийся из опрокинутой гильзы бензин, что успеваешь поверить, что ты не опытный вредитель, как намекает взглядом товарищ Кожеуров, а просто сраный разгильдяй, твою мать, только тогда, когда уже неделю то на голодных детей, по-прежнему считающих его материалом для строительства снеговиков и крепостей, то на военкора, смотрящего на незнакомый город из-под черного эмалированного полукруга с таким видом, будто перед ним не несколько случайных трупов на мокрой обочине, а и впрямь заря победы с пограничными столбами, прочитав о которых во фронтовой газете, ты поймешь, что есть люди, старательно оформляющие местность, по которой ты в последний раз бежишь на пулемет, из-за чего им, наверно, приходится говорить между собой на особом языке, совсем как офицерам железнодорожных сил, обсуждающим какие-то кубометры и максимальное число вагонов теплым майским вечером на игрушечной железнодорожной станции, каких у нас просто не бывает, потому что по эту сторону границы все наоборот: что-то железнодорожное есть в детских игрушках, и люди делают свои дома чуть похожими на тюрьмы, чтобы не было особого смысла отправлять их в настоящую тюрьму, зато уж внутри этих самых домов они всей толпой беззаветно штурмуют верхние нары, и нет ничего удивительного, что женщина, которой ты четыре года отправлял письма, каждый раз стараясь целиком поместиться в бумажном треугольнике, недоумевает, как это ты не привез ей из

Германии вагон барахла, а раздобыл там только часы в стальном корпусе и старый фотоаппарат, который ты вешаешь на стену комнаты, где родился и вырос, пробивая гвоздем новые обои с такими же розовыми узорами, какими скоро покроется все вокруг, хотя пока они появляются только на сетчатке левого глаза после третьего стакана водки, от запаха которой она морщится, потому что не понимает, что человек должен уметь забывать прошлое, если хочет и дальше идти по жизни, где надо улыбаться наглой женщине из отдела кадров, надевать медали на экзамен и приносить домой несколько веток сирени, напоминающей не то о довоенных чернилах, не то о вечном салюте всем живым, если они, конечно, еще есть в этом городе, лучше приспособленном для грузовиков, чем для людей, особенно крошечных, которые дико орут всю ночь, лежа в своих кроватках и глядя то на ползущие по потолку квадраты света, то на лицо матери, разрисованное помадой и тушью, купленной у каких-то сволочей перед вокзалом, прямо на площади, где скользят небывалые, как из сна, голубые «Победы», и весело горят огни на домах, подтверждая, что уже никогда не повторится то, что было раньше, или, если сказать то же самое по-другому, все оказалось позади, и от тебя осталось только то, на что ты надеваешь пиджак и брюки, когда идешь на работу, и переодеваешь в китайский лыжный костюм, приходя домой и плюхаясь в кровать рядом с крупнозадным человеком другого пола, настолько частым опытом многих, что даже есть спе-

циальное слово «жена» для описания того, что чувствуешь, видя завитые короткие волосы и вдыхая запах духов «Колхозница», пропитавший все до такой степени, что комната, где едят и дышат четверо человек, становится похожей на парикмахерскую в день погребения Сталина, отчаянного человека, оставившего вся государственные и партийные посты ради самой обыкновенной смерти, после которой вдруг выяснилось, что в любую гранитную задницу можно без труда вбить кукурузный початок, а это, кстати, можно было бы понять еще очень давно, если бы было время задуматься, но только его нет даже у детей, похожих со своими ранцами на маленьких космонавтов, высадившихся на этой безобразной планете в самое спокойное за всю ее историю время и уже создавших вокруг себя какой-то непонятный мир, о котором ты никогда ничего не узнаешь, так что умнее было бы повернуться к тем радостям, которые еще может дать жизнь, и пореже смотреть вниз из окна, потому что добровольная смерть – удел слабых, а удел сильных – недобровольная, а сейчас как раз приходит возраст расцвета, когда внизу тебя ждет кремовая машина со взлетающим над капотом оленем, здоровье в полном порядке, и со спины иногда еще долетают слова «молодой человек», потому что на затылке сохранились волосы, а кроме всего этого, ты очень нужен тем, кто дергает тебя за пальцы, называет папой и просит принести что-нибудь смешное с работы, где самое смешное – на бланках с грифом «секретно», а по коридорам ходят такие псы

в костюмах, что надо все время самому рычать, чтобы тебя не съели по ошибке, или от чувства полноты жизни, которое надо все время показывать самому, чтобы тебе все время демонстрировали его в ответ, то есть надо улыбаться, отпускать усы, махать в жэке справками и так далее, и тогда, может быть, найдутся два или три идиота, которые придут к тебе в гости и скажут, что ты живешь как король, после чего ты сможешь представить себе, что чувствует король, десятый год бегая трусцой по обсаженной сиренью аллее и видя людей, которые будут жить после того, как он последует за недавно оставившей этот мир королевой, а чтобы он ни с чем не перепутал это чувство, у него есть дети, уже прикидывающие, как они разменяют квартиру, собранную по частям из освобождающихся комнат, как из кубиков с фрагментами рисунка, в надежде, что сойдется, а когда все сошлось, страшно даже посмотреть на это, потому что догадываешься, какой рисунок вышел, и тебе приходится отсекал уже гниющие части мира, чтобы в узком коридоре смысла глядеть в телевизор и гадать, чувствуют ли они то же самое, и если да, то зачем они тогда так тщательно растягивают вдоль своих лысин последние оставшиеся пряди и обнажают в улыбках пластмассовые зубы, которые им, как и тебе, придется положить на ночь в специальный раствор, пахнущий сиренью, и долго стоять над плексигласовым стаканом, силясь вспомнить, о чем же напоминает этот запах, но вместо этого вдруг наткнуться на мысль, что догадываешься сейчас о существо-

вании жизни так же, как когда-то догадывался о существовании смерти, от чего становится до того страшно, что делаешь одновременно три вещи: закуливаешь сигарету, включаешь телевизор и открываешь недавно купленную книгу, где сказано, что прошел о Нем слух по всей Сирии, и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их, и следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана, откуда все громче доносится гневный голос арабского народа, обещающий кратковременные дожди и восемнадцать – двадцать градусов тепла – как раз то, что нужно для ритуального посещения дачи, где тебя встречают как неизбежное зло, и из окна которой ты видишь выросший прямо у стены гриб, похожий не то на человечка, не то на крохотную водонапорную башню, что, в сущности, одно и то же, если вспомнить, что человек – это почти что двухметровый столб воды, способный самостоятельно перемещаться по поверхности земного шара, двигаясь к железнодорожной станции сквозь сгущающиеся сумерки и прислушиваясь к долетающей откуда-то музыке, совершенно не подходящей для того, чтобы разместить в ней хоть одно свое чувство, и поэтому чужой и оскорбительной, но все-таки прекрасной, раз вокруг полно тех, кому это удастся без всякого усилия с их стороны в те же дни, когда ты тайком, как другие пьют портвейн, крестишься в подъездах и лифтах, носишь откровенно пред-

смертное черное пальто и всерьез ищешь чего-то в приобретенной для смеху и интеллигентности книге, когда пытаешься дозвониться бывшим детям, чтобы услышать в трубке свой уверенный бодрый голос и лишний раз понять, что ты не нужен никому и ничему в мире, сужающемся с движением твоего взгляда по обоям навстречу просвету окна перед шторой, за которую ты держишься, надеясь, что на этот раз отпустит, если тебе удастся не поворачивать взгляд дальше вправо, потому что, когда человек начинает принимать треугольное слуховое окно на маленькой зеленой крыше за глаз, который глядел на него с рожденья, уже не имеет никакого значения ни то, как именно он упадет на пол, ни то, что последним увиденным им на свете предметом окажется водонапорная башня.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.